

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
В93

Оформление серии *Елены Околыциной*

Высоцкий, Владимир Семенович.
В93 Стихотворения / Владимир Высоцкий. —
Москва : Эксмо, 2019. — 320 с.

ISBN 978-5-04-102421-5

«Как успел он вместить, прожить столько жизней, и каких!.. <...> Но одно кажется очевидным: без дара любви к своей стране, к народу своему Высоцкий вообще необъясним (как необъяснимо без этого дара ни одно из явлений настоящего искусства)» — писал Ю. Карякин в самой первой посмертной статье. Вот уже почти сорок лет нет Высоцкого с нами, но его песни живут, бережат души слушателей прежде всего своей подлинностью. Но песни его далеко не сразу раскрываются полностью, над ними приходится думать и работать. В книгу включены лучшие стихотворения и песни поэта.

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

© Высоцкий В., наследники, 2019
© Карякин Ю., предисловие.
Наследник, 2019
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

ISBN 978-5-04-102421-5

ОН ИЗ ПОВИНОВЕНИЯ ВЫШЕЛ¹

<...>

Непостижимо: откуда он, Владимир Высоцкий, молодой, так много и так кровно знал про нас про всех? Про войну — сам не воевал. Про тюрьмы — сам не сидел. Про деревню нашу —

¹ Эта статья Ю. Карякина была первой в нашей печати статьей о Высоцком. Написать ее Юрий Карякин обещал Марине Влади после похорон Володи на поминках в Театре на Таганке. Написал в сентябре 1980 года. Но напечатал с огромным трудом, уговорив и главного редактора журнала «Литературного обозрения» Лавлинского и цензора Главлита, заставив и того и другого долго и много слушать самого Высоцкого. Без горячительного, конечно, тогда не обошлось. Статью опубликовали к годовщине смерти поэта.

Но пришлось пойти на компромисс и вместо названия «Он из повиновения вышел» дали нейтральное — «О песнях Высоцкого» // Литературное обозрение, 1981, № 7, С. 94—99. Потом эту статью перепечатывали еще под названием «Остались ни с чем егеря». См, например, книгу: Юрий Карякин «Жажда дружбы. Карякин о друзьях и друзья о Карякине». М., «Радуга», 2010. *Примеч. Ирины Зориной.*

сам-то горожанин, москвич прирожденный («Дом на Первой Мещанской, в конце...»).

Откуда эта щемящая — фольклорная — достоверность? Никакая тут не стилизация: он о родном, о своем поет:

В синем небе, колокольнями проколотом, —
Медный колокол-л-л, медный колокол-л-л —
То ль возрадовался, то ли осерчал...
Купола в России кроют чистым золотом, —
Чтобы чаще Господь замечал...

Как успел он вместить, прожить столько жизней, и каких!... И как все-таки много может сделать один-единственный человек, а ведь даже и он не все сделал.

Откуда все это? Можно сказать: дар такой, и все тут. Но как определить сам этот дар? Вряд ли сейчас придет исчерпывающий ответ. Но одно кажется очевидным: без дара любви к своей стране, к народу своему Высокский вообще необъясним (как необъяснимо без этого дара ни одно из явлений настоящего искусства). Очень пронизательной бывает ненависть, но сама по себе, даже святая, она

всегда в чем-то ущербна, ограничена, а уж когда она несправедна, то вся ее дьявольская пронизательность оказывается не открытием, а закрытием: она прицельно, злорадно бьет по большим местам — убивает. О равнодушии нечего и говорить: оно, так сказать, принципиально верхоглядно, лениво и импотентно. Безграничен же в своей пронизательности лишь дар любви к родному. Отсюда чуткость к боли, догадливость к беде, нелицемерное сострадание и сорадование.

Вот уж кто не берег, не щадил себя, чтобы отыскать, открыть и прокричать-пропеть правду, чтобы так сблизить людей и (это уж и вовсе кажется чудом) сблизить совсем разные, далекие поколения — шестидесятилетних и подростков нынешних.

Почти каждую свою песню пел он на предельном пределе сил человеческих. А сколько у него таких песен, и сколько раз он их так пел! И если уж одно это исполнение производит такое потрясающее впечатление, то какой же ценой, нервами какими и кровью они создавались? Какой за этим труд?..

Он был на редкость удачлив. Но это была удачливость без презрения к неудачникам. И в то же время чувствовалась чисто мужская, мужицкая твердость, твердость человека, умеющего работать до седьмого пота, знающего цену работы, а потому жесткого к людям ноющим, не работающим. Неудача может быть в работе — как же иначе? Пожалуй, даже и не может быть работы без неудач. Но неудача, связанная с бездельем, неудача в... безделье?.. Никакая тут не трагедия, а фарс, празднословие.

Я видел, как он записывался для кинопанорамы. Пел «Мы вращаем Землю». Первая попытка — неудача. Вторая, третья, четвертая — тоже. Лишь пятая немного его удовлетворила. По напряжению — даже только физическому — не уступал он никаким олимпийцам — тяжелоатлетам, скажем, когда они рвут свои штанги.

Его способность самоотдачи феноменальна. Но чтобы так много отдавать, надо это и меть, а еще раньше надо обладать фено-

менальной же способностью б р а т ь , копить, выпитывать — везде, всегда, ото всех.

Очень это о нем (особенно о «Песне конченного человека») — такой диалог внутренний из М. Цветаевой:

- Скошенный луг —
Глотка!
- Хрипи, тоже ведь звук...
- Так и в гробу?
- И под землей.
- П е т ь не могу!
- Э т о воспой!

Слушая его, я в сущности впервые понял, и понял, так сказать, чисто физически, что Орфей знаменитый древнегреческий, играющий на струнах собственного сердца, — никакая не выдумка красивая, никакая не фраза, а самая что ни на есть чистая правда.

И почему-то мне кажется, что некоторые песни должны были ему вначале непременно п р и с н и т ь с я , что они потрясали его во сне, а уж проснувшись — в ужасе, в радости, — он их мучительно вспоминал, восстанавливал, записывал...

Не раз случалось: услышал какую-нибудь его песню, и, кажется, уже покорила она тебя, но потом вдруг слышишь ее снова и не узнаешь, вроде та — и не та. Чуть изменились слова, чуть интонация, ритм, чуть-чуть еще что-то, неуловимое, и вот перед тобой — не второй, не третий варианты, а единственный. В чем тут дело? Не в том ли, что истинный талант — это, может быть, прежде всего «просто» непримиримость (даже ненависть) к собственной бездарности — безвкусице, нечестности, неточности и, главное, умение вытраивать все это беспощадно, без остатка?

Его песни — это словно он сам все время прислушивается, боясь пропустить чей-то сигнал бедствия. Сам мчитя кому-то на помощь, боясь опоздать. Сам поминки виноватые справляет о павших, боясь кого-либо из них позабыть, не понять, раз уж не удалось спасти.

Гете говорил, что если перед вами человек, в чем-то превосходящий вас, то полюбите, полюбите его за это. Иначе грозит болезнь, иначе изойдете от зависти. Но попробуйте позави-

довать Высоцкому. Как, например, завидовать человеку, который, жизнью своей рискуя, бросается в омут бурлящий или в огонь, чтобы спасти другого? Вот действительно: поди — попробуй. Вся зависть, все тщеславие утонут в этом омуте или сгорят дотла в этом огне...

Он бьет, бьет в набат: у каждого человека свой голос, своя песня, но как люди вяло знают, как смутно помнят об этом, как хитроумно и упорно «откладывают себя» и как панически, ненадежно, ненадолго спохватываются. В этом-то и состоит, быть может, самая первичная трагедия, трагедия всех трагедий.

Кто-то высмотрел плод, что неспел, неспел, —
Потрусили за ствол — он упал, упал...
Вот вам песня о том, кто не спел, не спел
И что голос имел — не узнал, не узнал.

Может, были с судьбой нелады, нелады
И со случаем плохи дела, дела,
А тугая струна на лады, на лады
С незаметным изъязном легла, легла.

Он начал робко с ноты «до»,
Но не допел ее, не до...

Не дозвучал его аккорд, аккорд
И никого не вдохновил.
Собака лаяла, а кот —
Мышей ловил.

Смешно, не правда ли, смешно! Смешно.
А он шутил — недошутил,
Недораспробовал вино,
И даже недопригубил.

...Он знать хотел всё от и до,
Но не добрался он, не до..
Ни до догадки, ни до дна, до дна,
Не докопался до глубин,
И ту, которая одна, —
Недолюбил, недолюбил, недолюбил,
недолюбил...

Смешно, не правда ли, смешно! Смешно.
А он спешил — недоспешил, —
Осталось недорешено
Все то, что он недорешил.

И откуда он предчувствовал и почти дотошно знал свою судьбу? Будто сам загадал и сам же отгадал. А может, так: сам ее делал, а потому и знал? Его песни — это еще какая-то неистовая гонка:

неутолимого голода работы: успеть! успеть!.. И когда беспрестанно упрекают наше искусство в том, что оно, дескать, отрывается от жизни, то мне хочется сказать и другое: не слишком ли оно оторвано от смерти? Будто мы не смертны уже, будто смерть — это что-то вроде «родимого пятна» от старого вроде предрасудка, который вот-вот должен отмереть. Да ведь без смерти не было бы, может, и никакой нравственности вообще — к сведению некоторых «оптимистов»...

<...>

Дельвиг писал Пушкину: «Никто... не поворачивал так каменными сердцами нашими, как ты...» Что надо, чтобы пробиться сквозь наши каменные сердца, чтобы оживить их надеждой и болью? А чем еще можно их оживить?

Булат Окуджава играет на своей тихой волшебной дудочке — и вдруг, сквозь асфальт, прямо на камнях, зеленеют ростки...

А еще нужны, наверное, и настоящие отбойные молотки, еще и взрывать нужно камни, иначе тоже ни к чему не пробиться, ничего не

найти. И Высоцкий сочинял и пел свои песни так, будто молотком отбойным и работал, сотрясая всех и сотрясаясь сам. Он именно взрывает сердца, и прежде всего свое собственное сердце. Зато к каким тоже росткам, к каким сокровищам пробивается.

Кажется порой: вот неверно, вот не так, а в результате вдруг забываешь о «неверности», и предстает тебе новая энергия, новая гармония, и даже возникает такое ощущение, что она давным-давно скрыта была в глубинах самого русского языка, речи русской, души — и вырвалась. И так называемые неправильности, неверности, негладкости у него — они большей частью не от слабости, наоборот: от неподдельной и высокой искренности, естественности, от силы, от манящего предчувствия неизведанности его пути. За ними новая правильность, открытие угадывается. Без них речь живая преснеет, дистиллируется, вкус теряет. Здесь именно та небрежность, та «грамматическая ошибка», за которую Пушкин любил русскую речь, без которой и не может быть трепета, напряженности, нарощности, то есть